

Владимир Мюллер

# Пушкин и Шекспир

ОК. 1937

*Публикуется впервые*

*Подготовка к печати,  
научная редакция и дополнения  
доктора филологических наук, профессора*

Д. И. Ермоловича

## От научного редактора

Рукопись монографии В. К. Мюллера «Пушкин и Шекспир» автором не датирована. Судя по косвенным сведениям (датам издания источников в ссылках, биографическим данным В. К. Мюллера), ее можно отнести к 1937, самое позднее — к 1938 году.

Архивная рукопись была отпечатана на пишущей машинке. Она уже побывала в издательстве (по-видимому, включившем книгу в свои планы), т. к. на рукописи имеются пометки редактора: поправки, вопросы, предложения что-то опустить или добавить. Можно лишь предполагать, по какой причине авторская и редакторская работа над подготовкой монографии к печати не была закончена и этот труд не был издан. Такой причиной могла стать работа В. К. Мюллера над словарем по договору, заключенному с издательством в начале 1939 года, которую он завершил лишь в первой половине 1941 года, а затем — начало Великой Отечественной войны, блокада Ленинграда и (в конце года) кончина В. К. Мюллера.

Имеющиеся в рукописи В. К. Мюллера пометки говорят о том, что она еще не была доведена до необходимой степени готовности к печати. Поэтому автор этих строк рассматривал себя не только как текстолога и публикатора, но и как стилистического редактора, которому по воле судьбы — пусть и через большой промежуток времени — выпала миссия окончательно подготовить монографию к публикации. По этим соображениям ее подготовка к печати принципиально отличалась от работы над повторным изданием монографии «Драма и театр эпохи Шекспира». Если в последнем случае сам авторский текст оставлен без изменения даже в тех формулировках, которые страдают повторами, плеоназмами или алогизмами (например, «меньшая половина»), то в отношении рукописи «Пушкин и Шекспир» наиболее явные стилистические промахи автора было решено исправить, тем более что такие упущения в ней немногочисленны. (Рассматривалась возможность и иного текстологического подхода, но принятое решение основывалось также на том соображении, что в качестве одного из главных адресатов своего труда В. К. Мюллер, как университетский профессор, имел в виду студентов вузов и, несомненно, согласился бы с исправлением стилистических упущений в тексте, рекомендуемом к изучению.)

На основе изложенного подхода при подготовке монографии «Пушкин и Шекспир» была проведена работа, включающая:

– исправление опечаток, а также приведение орфографии нарицательных слов, грамматических согласований и пунктуации в тексте (кроме цитат) к современной норме;

— заполнение пробелов, оставленных для последующего вписывания от руки иноязычных слов и фраз, но так и не заполненных автором;

— выверку цитат (часть из которых В. К. Мюллер приводил не всегда точно — видимо, по памяти);

— проверку, дополнение и упорядочение библиографических ссылок;

— минимально необходимую стилистическую и логическую правку.

Принципы стилистической и логической правки следует пояснить отдельно. При ее внесении я стремился, по возможности, делать это не путем обычного редактирования, а с помощью включения в текст уточняющих дополнений. Такие дополнения заключены в **угловые скобки**. Например, фраза из рукописи

Пушкин и не поминает нигде о них, кроме Спенсера  
дополнена следующим образом:

Пушкин и не поминает нигде <ни> о <ком из> них, кроме Спенсера.

Другие примеры:

Назначение их было, несомненно, <в том, чтобы> служить актами.

Карамзин не был единственным источником для Пушкина, как и Голиншед для Шекспира. Оба поэта внесли <в свои произведения> ряд персонажей, совсем не упоминаемых в истории.

Там, где уточнить смысл текста с помощью вставок было невозможно, приходилось прибегать к замене, перестановке или иногда опущению отдельных слов или словоформ. Эти корректировки были немногочисленны; в публикуемом тексте они не выделены. Вот пример такого преобразования (в предложении устранен повтор модального слова путем его замены на синоним):

**Надо**, впрочем, сказать, что к сообщениям Павлищева вообще **надо** относиться осторожно. → Надо, впрочем, сказать, что к сообщениям Павлищева вообще **следует** относиться осторожно..

В **одинарные круглые кавычки** ( ‘ ’ ) заключены толкования значений слов и выражений. В **квадратные скобки** заключены уточнения, в том числе оригинальные иноязычные слова и выражения, включенные автором в состав переводных цитат.

В **угловые скобки** заключены также слова и выражения, которыми научный редактор заполнил оставленные в рукописи пробелы, так и не заполненные В. К. Мюллером, например:

...для нас это келья неведения [*<a cell of ignorance>*]. Мы ничего не видали

Имена собственные даны в авторском написании В. К. Мюллера, даже если оно отличается от общепринятого сегодня. Например, сохранены варианты *Фольстаф* (при традиционно принятом *Фальстаф*), *Корнуол* (а не *Корнуолл*), *Лам* (а не *Лэм*), *Боульс* (а не *Боулз*). В ряде случаев это отмечено и в дополнительных примечаниях.

Написание прилагательных, производных от имен собственных, которые в авторской рукописи даны то с прописной, то со строчной буквы, было упорядочено по следующему принципу: притяжательные прилагательные (*Шекспиров*, *Байронов*, *Вильсонов*) даются с прописной буквы, прочие производные — со строчной (*пушкинский*, *шекспировский*, *вильсоновский*).

Постраничные подстрочные примечания преобразованы в концевые (см. с. 179–201) аналогично тому, как поданы примечания в монографии «Драма и театр эпохи Шекспира».

Кардинальной доработке подверглись библиографические ссылки в примечаниях, поданные автором во многих случаях чрезмерно лаконично и даже обрывочно, иногда неточно и неоднозначно. Так, сокращением «Академич. изд.» автор обозначал как собрание сочинений А. С. Пушкина, выходившее в издательстве Императорской Академии наук в 1899–1916 гг., так и издание Академии наук СССР, начавшееся в 1935 г. с «пробного» VII тома и затем выпускавшееся в новом формате с 1937 г. Было принято решение дать все библиографические ссылки в наиболее полном виде и отказаться от сокращений, кроме трех наиболее частотных (они расшифровываются при первом использовании в примечаниях № 14, 92, 95). Большая часть выходных данных, добавленных мной к библиографическим ссылкам В. К. Мюллера, в печатном тексте никак не выделена.

Я счел необходимым дать ряд собственных примечаний к монографии В. К. Мюллера. Все такие примечания снабжены заключительной аббревиатурой *Д. Е.*; те из них, что приведены в конце монографии, имеют единую нумерацию с авторскими, но заключены в угловые скобки.

*Д. И. Ермолович*

## Глава I. Пушкин и английский язык

«**А**НГЛИЙСКАЯ словесность начинает иметь влияние на русскую. Думаю, что оно будет полезнее влияния французской поэзии, робкой и жеманной». В этих словах своего письма к Гнедичу от 27 июня 1822 года Пушкин отмечает большой и важный сдвиг не только в литературной, но и во всей нашей культурной истории. Конечно, связи с Англией существовали и раньше, но в XVIII веке интересовала не столько английская словесность и сама Англия, сколько отдельные ее произведения, вроде стерновского «Путешествия» или статей из адиссоновского «Зрителя».

С начала XIX века всё больше начинает интересоваться сама Англия, о которой хотят знать больше, чем об ее туманах и о том, что люди едят там много мяса, от каковых двух причин они заболевают сплином; хотят лучше ознакомиться с этим народом, с его парламентом, обычаями, литературой и промышленностью, готовы переплачивать за его прославленные добротностью изделия. Англия начинает импонировать многим, одних привлекая, других пугая, как страна политических свобод, технического прогресса и владычица морей. «Когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы..., то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство», — писал Пушкин Вяземскому 27 мая 1826 года.

Но на пути этого сближения лежало серьезное препятствие: язык. В те годы английский язык был слабо распространен в России сравнительно не только с французским, но и с немецким. Немецкий язык более или менее знали в ученом и деловом мире, но не допускали в так называемом «свете». Одна из бабушек Татьяны Пассек выразила это довольно красочно: «Этот язык [немецкий] не нужен ни к чему, разве с немцами-булочниками объясняться, в обществе им никто не говорит — тяжелый»<sup>1\*</sup>. (Вероятно, и Пушкин, не любивший и плохо знавший немецкий язык, весело рассмеялся бы над этим приговором и не оспаривал бы его.) Вот показание другого современника: «Знание

немецкого языка было большой редкостью, почти до двадцатых годов. Когда я был в Университете (1813–1817), почти никто не знал по-немецки»<sup>2</sup>.

В начале XIX века французский язык царил у нас, как и прежде; по-прежнему английские книги переводились у нас с французского, реже с немецкого языка и совсем редко (и обыкновенно плохо) с оригинала; по-прежнему школа английскому языку не учила, кроме редких случаев, когда этого требовали профессиональные условия, как в морских и коммерческих училищах.

Позже в XIX веке положение начинает постепенно и медленно изменяться. В газетах изредка попадаются объявления пансионеров, преимущественно женских, обещающих за особую плату обучать желающих «английскому языку по правилам грамматическим». Еще чаще в эту пору учат детей английскому языку в семьях родовитого дворянства. Заезжие англичане в описаниях своих путешествий в Россию нередко отмечают знание английского языка в той среде, к которой принадлежал Пушкин. «Английский язык, — пишет один из них, побывавший у нас в 1822–23 годах, — стал здесь модной и почти необходимой принадлежностью образования; многие молодые женщины говорят на нём очень правильно и любят нашу литературу»<sup>3</sup>. Другой пишет в 1829 году, что «в очень многих русских дворянских семьях он встречал или английских гувернанток, или служанок [очевидно, «бонн»]; русские так стремятся к усвоению иностранных языков и особенно английского, что наши соотечественники могут с полной уверенностью найти себе здесь работу повсюду [in almost any part of the country]». Этот же путешественник отмечает ту разницу (не подтверждающуюся, впрочем, моими наблюдениями), что «в Петербурге обычно изучают английский и французский, а в Москве немецкий и французский. Многие говорят и на пяти языках»<sup>4</sup>.

Рисуемая этими англичанами картина распространения у нас английского языка, несомненно, преувеличена. Гораздо ближе к правде другой английский путешественник, который, примыкая к единодушным свидетельствам своих французских собратьев, говорит, что «общий язык здесь французский, и благодаря этому здесь можно вообразить себя во Франции»<sup>5</sup>. С этим до некоторой степени сходится и то, что говорит Бестужев во «Фрегате „Надежда“»: «В Москве учатся многим иностранным языкам и много читают. В Петербурге нет времени ни для наук, ни для чтения, а владыка — язык

\*Нумерованные примечания к этой монографии см. на с. 179–201. — Д. Е.

французский. По-итальянски только поют, о Байроне говорят понаслышке и боятся языка Шиллера, чтобы не изломать своего».<sup>6</sup>

Впрочем, английские гувернантки изредка проникали и в дворянские усадьбы; вспомним в «Барышне-крестьянке» <А. С. Пушкина> мисс Жаксон в семье Муромского и его несложную англоманию: «англизированные владения», конюхов, одетых жокеями, и “My dear”, обращенное к дочери.

Среди старшего и младшего поколения пушкинской поры, этого образованнейшего слоя русского дворянства, далеко не все знали английский язык, особенно чтобы читать свободно современных поэтов, а из тех, которые знали, многие узнали его не с детских лет от гувернеров, а благодаря личным усилиям самоучкой уже в более зрелые годы, как и Пушкин. Так, по-видимому, ни Баратынский, ни Батюшков, ни Дельвиг, ни Крылов английского языка не знали. Но о тяге к нему и о той роли, которую в возбуждении этого интереса сыграл Байрон, можно судить по таким фактам: сохранилось письмо Батюшкова, написанное во время болезни, в 1826 году, к уже умершему Байрону: «Прошу Вас, милорд, прислать мне учителя английского языка... Желаю читать Ваши сочинения в подлиннике»<sup>7</sup>.

Вот другой факт, тоже по-своему удивительный. П. А. Вяземский, сын матери-ирландки и одного из наших ранних англоманов, в доме которого неизменно бывали все заезжие англичане, Вяземский, один из самых образованных наших литераторов, в 1819 году говорит о своем восторге перед Байроном, которого читает, «конечно, в бледных выписках французских. Если решусь когда-нибудь чему учиться, то примусь за английский язык единственно для Байрона... Кто в России читает по-английски и пишет по-русски? Давайте мне его сюда. Я за каждый стих Байрона заплачу ему жизнью своею»<sup>8</sup>.

На этот риторический вопрос Вяземского теперь можно ответить следующими именами. Из представителей старшего поколения это Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский, А. И. Тургенев, Вас. Льв. Пушкин, И. И. Козлов и Д. Н. Блудов.

Козлов выучился языку, уже будучи больным, в 1818 или 1819 году — по свидетельству А. И. Тургенева, «в три месяца». «Жуковский читал “Ch. Harold” и „Освобожденный Иерусалим“, — записал Козлов в своем дневнике под датой 4 февраля 1819 года, — я ужасно счастлив, что понимаю эти два языка» (то есть английский и итальянский).

«Читал с Жуковским „Гяура“, — пишет он же 4 марта 1819 года, — я много занимаюсь английским языком»<sup>9</sup>.

Блудов вынес знание английского языка тоже не из дому и, по-видимому, не из университетского пансиона, где английский язык был выставлен в программе вместе с немецким, французским и итальянскими языками в качестве обязательного<sup>10</sup>; по словам его биографа, он научился ему за два года своего пребывания в Лондоне в качестве советника русского посольства, без учителя, со словарем, по романам Вальтера Скотта. Через три месяца по приезде он уже читал английские журналы<sup>11</sup>.

Из сверстников Пушкина и младших его современников назову Грибоедова, прежде всего потому, что одно дело читать Вальтера Скотта и другое — более или менее свободно разбираться в Шекспире, а Грибоедов именно знал язык настолько хорошо, что не боялся Шекспира и даже считал, что «совестно читать Шекспира в переводе, если кто хочет вполне понимать его, потому что, как все великие поэты, он непереволим и непереволим оттого, что национален»<sup>12</sup>. Тем более протестовал он против «дерзких» попыток «перекраивать Шекспира» на французский лад. Знали английский язык П. А. Катенин<sup>13</sup>, оба Киреевских <(Иван Васильевич и Петр Васильевич)>, Д. В. Веневитинов.

Лермонтов хорошо знал язык с двенадцатилетнего возраста, благодаря англичанину-гувернеру; по свидетельству Шан-Гирея, учился он по Байрону и через несколько месяцев читал его свободно, но устной речью вполне не овладел. В одном из его стихотворений, «Последний сын вольности», есть английское двустишие — попытка перевода пушкинского: «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой».

Очень любопытно хорошо известное горячее обращение Бестужева-Марлинского к Пушкину в письме от 9 марта 1825 года: «Я с жаждой глотаю Англинскую литературу и душою благодарен Англинскому языку: — он научил меня мыслить, он обратил меня к природе, — это неистощимый источник! Я готов даже сказать: Il n’y a point de salut hors la littérature anglaise\*. Если можешь, учись ему. Ты будешь заплочен сторицею за труды»<sup>14</sup>.

\* Вне английской литературы нет спасения (*фр.*).

Насколько же владел английским языком Пушкин? Это очень существенный вопрос для всякого, желающего отдать себе отчет в том, на каком языке и как читал он Шекспира. Вопрос этот рассматривался несколько раз, подробнее и лучше других М. А. Цявловским<sup>15</sup>. Но ввиду того, что я пришел к выводам, довольно существенно отличным от прежних, да и шел не тем путем, вопрос этот следует пересмотреть.

Спор сводился преимущественно к тому, знал или не знал Пушкин английский язык в 1820 году, когда впервые стал знакомиться с Байроном, мог он читать его тогда в оригинале или нет? С. Л. Пушкин заявлял, что сын его, «вступив в лицей, уже этот язык знал, как знают все дети, с которыми дома говорят на этом языке»<sup>16</sup>. Таким образом, Сергей Львович как бы повторяет приведенные указания английских путешественников. Действительно, в доме Пушкиных была гувернантка-англичанка, мы слышим даже о двух — мисс Белли и мисс Хантер<sup>17</sup>.

Племянник поэта Л. Н. Павлицев сообщает даже такие подробности, что мисс Белли (вероятно, Bailey?) развила в сестре поэта «любовь к английской словесности, познакомив ее с образцовыми произведениями Шекспира, особенно с „Макбетом“... Под руководством мисс Белли Ольга Сергеевна и изучила английский язык основательно... Она же [мисс Белли] должна была читать Надежде Осиповне по вечерам английские романы»<sup>18</sup>. Но тут же Павлицев добавляет, что «мисс Белли была приглашена, когда семья переехала в Петербург», и это значит, что Пушкин мог слышать английскую речь только изредка во время поездок в Петербург.

П. В. Анненков внес другую существенную поправку — очевидно, со слов Ольги Сергеевны: «Пушкин учился по-английски, но плохо». Этому надо поверить безусловно. Иностраный язык, которому дети научились разговорным путем, легко и быстро восстанавливается и через 10–15 лет, даже будучи совсем забыт; во всяком случае остается правильное произношение. Между тем Пушкин произносил слово по-английски так, как оно пишется; об этом мы имеем свидетельство Юзефовича<sup>19</sup>, об этом же говорят многочисленные его написания, как *Чильд*, *Дов*, *Карлиль*, *Буньян* и т. п.

Таким образом, едва ли мы очень ошибемся, предположив, что в эти годы знание языка ограничивалось у него рядом обиходных слов и фраз; вероятно, имя Лайон (= Лев), которым он иногда называл

брата, было одним из таких детских воспоминаний<sup>20</sup>. В лицее английский язык не был включен в программу, а по окончании лицея и до ссылки бурный, рассеянный образ жизни едва ли оставлял время для каких-нибудь усидчивых занятий иностранным языком.

Чаадаев рассказывал Бартеневу, что Пушкин брал у него еще до ссылки “Table-Talk” Хазлитта, чтобы выучиться языку и читать Байрона в оригинале. Память в чём-то изменила здесь Чаадаеву — либо в дате, либо в названии книги. Правда, издание “Table-Talk” появилось не в 1825 году, как говорит М. А. Цявловский, а в 1821–22, но всё равно этой книги Пушкин не мог получить до своего отъезда на юг. Может быть, на самом деле это был “The Round Table” — сборник журнальных статей Хазлитта за 1815–17 годы, вышедший в свет в 1817 году?

В 1820 году, осенью, в Гурзуфе Пушкин сделал попытку читать Байрона с чужой помощью. Известия об этих занятиях довольно противоречивы, но это и неважно: был ли руководителем один Н. Н. Раевский или еще одна из сестер последнего, самоё пребывание в Гурзуфе было так кратковременно, что не могло дать осязаемого результата. От этой поры или от следующего 1821 года сохранилась в бумагах Пушкина его попытка перевода начальных строк «Гяура» с оригинала на французский язык, попытка тем более важная для нас, что перевод назван самим переводчиком буквальным (*littérale*).

Первый опыт надо назвать очень слабым. П. О. Морозов ошибался, говоря, что «он заключает только одну ошибку», а именно смешение английского *grave* ‘могила’ с французским *grève* ‘песчаный берег’ и прилагательного *Athenian* ‘афинский’ с существительным *Athens* ‘Афины’. Есть и ряд других: *below* значит ‘ниже, под’, а не ‘на’ (*sur*), *gleaming* — ‘сверкающий’, а не ‘возвышенный’ (*élevé*). Не понятно, что это расположенная на высокой скале могила Фемистокла «первая приветствует возвращающийся на родину корабль», — в переводе, наоборот, корабль приветствует могилу. Вторая строфа, по-видимому, была менее трудна переводчику, но и тут есть ошибки: *sight* понятно неправильно как ‘зрение, глаз’ (*œil*), тогда как оно означает здесь ‘зрелище, картина’; *hail* значит не ‘радоваться’ (*réjouir*), а ‘приветствовать’ — следовательно, не ‘сердце радуется глаз’, а ‘сердце приветствует картину’; *loneliness* значит не ‘мечтательная созерцательность’ (*contemplation rêveuse*), а ‘чувство одиночества’.

Приходится сделать вывод, что об английском языке Пушкин имел в ту пору понятие слабое, что запас слов у него был очень невелик и что текст отрывка был им плохо понят; он должен был убедиться, что с тем запасом, который остался у него с детства, он ни Байрона, ни английских поэтов вообще читать не может, и с обычной благородной строгостью к себе он говорит в 1825 году, что английского языка не знает: «Мне нужен английский язык—и вот одна из невыгод моей ссылки: не имею способов учиться, пока пора».

Из этих слов видно, что Пушкин думал об изучении языка не самоучкой, по книгам, что он мог бы делать (и, вероятно, исподволь и делал) в Михайловском, а о полном его усвоении — и пассивном, и активном — <через общение> с людьми, говорящими на нём, как на родном. Но мысль эта, очевидно, не осуществилась, и учился он впоследствии самоучкой. Такой вывод вполне согласуется с важным свидетельством С. П. Шевырева, который в 1826 году часто беседовал с Пушкиным об английской литературе: «Шекспира (а равно Гёте и Шиллера) он читал не в подлиннике, а во французском старом переводе, исправленном Гизо, но понимал его [т. е. Шекспира] гениально. По-английски выучился он гораздо позже, в С.-Петербурге, и читал Вердсворта»<sup>21</sup>.

Иногда указывалось, что у молодого Пушкина — например, в первых главах «Онегина» — попадаетесь целый ряд английских слов, как *dandy*, *roast-beef*, *beef-steak*, *сплин*, *вист* и т. п. Надо вполне согласиться с М. А. Цявловским в том, что слова эти отнюдь не доказывают, что Пушкин знал в то время английский язык. Они доказывают только, что слова эти были широко распространены в том дворянском кругу, к которому он принадлежал. По проникновению этих слов в русскую речь можно судить о том, насколько тесны были уже в это время связи с Англией; например, слово *dandy*, употребленное Пушкиным в первой главе Онегина — следовательно, летом 1823 года, — в Лондоне вошло в моду только в 1813 году. Эти слова, которые Пушкин изображает обычно по-английски, я думаю, показывают, что английский язык и вообще английская культура начинают в эту пору ему импонировать.

Обходя пока Михайловский период кратким замечанием, что Пушкин читал здесь Шекспира во французском переводе Летуэрна-Гизо, заглядывая с его помощью и в оригинал, перехожу к 1828 году.

Летом этого года Пушкин засел за английский язык, то есть как раз в то время, когда он, по словам Вяземского, «целое лето кружился в вихре петербургской жизни, воспевая Закревскую» и волновался из-за допросов по поводу «Гавририады»<sup>22</sup> («Снова тучи надо мною...»). Но работоспособность Пушкина давно перестала удивлять — очень тревожная осень 1830 была и самой плодотворной в его жизни. Одиннадцатого августа 1828 года Муханов сообщает Погодину: «Пушкин учится английскому языку, а остальное время проводит на дачах». Это известие находит подтверждение в анонимной заметке «Московского телеграфа» в 1829 году: «В последние годы Пушкин выучился английскому языку — кто поверит тому — в четыре месяца. Он хотел читать Байрона и Шекспира в подлиннике и через четыре месяца читал их по-английски, как на своем родном языке»<sup>23</sup>. То же сообщение и, как предполагают, того же автора (Ксенофонта Полевого?) повторяется и в некрологе «Живописного обозрения»: «Потом (после Михайловского) в Петербурге изучил он английский язык в несколько месяцев, так что мог читать поэтов»<sup>24</sup>. Наконец, то же самое говорит и Булгарин: «Может быть, А. С. Пушкин теперь и понимает совершенно Байрона и Гёте в подлиннике, но когда он начал писать, он не знал столько ни английского, ни немецкого языка, чтобы понимать высшую поэзию. Это всем известно». Конечно, источник заведомо недоброжелательный, но это было заявлено печатно<sup>25</sup> и не вызывало со стороны Пушкина протеста.

Есть целый ряд прямых и косвенных доказательств изменившегося отношения Пушкина к английскому языку. С этого времени появляются английские эпитафии и фразы в его письмах. Самые ранние, насколько я знаю, из этих записей связаны с двумя стихотворениями, написанными девятого мая 1828 года на пароходе при чьих-то проходах до Кронштадта<sup>26</sup>.

Под стихотворением «Увы, язык любви болтливой» подписано: «9 мая 1828 года, море, on day» (неправильный перевод «днем» вместо *by day* или *in the day-time*), а стихотворение «Зачем твой дивный карандаш» озаглавлено «To Dawe Esqr.» — надпись, с точки зрения английского этикета, не безупречная, так как равнялась бы на русском языке надписи без имени и отчества, скажем, «Его Высокоблагородию Пушкину»; вставка инициалов была здесь необходима, а прибавка *Esqr* излишня. Обе эти надписи говорят о новом интересе Пушкина к языку, а также о том, что он шел самоучкой. Также неправильно *Sire Kern* в письме П. А. Осиповой 28 августа 1825 года: во-первых,

не Sire, а Sir, во-вторых, Sir с фамилией, но без имени не употребляется.

Чаще начинают появляться английские слова, обычно выписываемые по-английски. Он пишет, что «попал на вечер к одной blue stockings» (письмо жене 12 сентября 1833 года), «Соболевский... прячется от заимодавцев, как настоящий gentleman»<sup>27</sup> (ей же, 26 августа 1833 года); он не решается сказать по-русски *комфорт*, а прибегает к описанию и ставит английскую форму в скобках: «всё благородное... (в Северо-Американских Штатах), подавленное неумолимым эгоизмом и страстью к довольству (comfort)»<sup>28</sup>. Но он решается употребить глагол «бох'овать» (по словам Даля, *боксить* встречается в наших гаванях, когда говорят о драке иностранных матросов). Иное английское слово кажется ему удобным в виду отсутствия соответствующего русского, например, для обозначения

Того, что модой самовластной  
В высоком лондонском кругу  
Зовется vulgar. (Не могу...  
Люблю я очень это слово,  
Но не могу перевести;  
Оно у нас покамест ново,  
И вряд ли быть ему в чести...)

(«Евгений Онегин», VIII, 15–16).

Довольно часты становятся английские эпитафии. Осенью 1828 года Пушкин выписывает в рукописи «Анчара» английское двустишие из Кольриджа, отброшенное при печатании; в январе 1829 года берет для «Полтавы» эпитафию из Байронова «Мазепы», который, по-видимому, в те же дни пытается перевести<sup>29</sup>.

Если взять в качестве критерия данные, почерпнутые из каталога его библиотеки, то видно возрастающее в тридцатых годах приобретение книг на английском языке, тогда как прежде преобладали французские книги, а если бывали английские, то обычно во французском переводе<sup>30</sup>. Словом, с этого времени его интерес к английской литературе и к языку получает новый импульс, он с жадностью накидывается на произведения Кольриджа, Саути, Мура, Вордсворта, Барри Корнуола, Вильсона, Баньяна; некоторые из них могли попасть в его руки только в оригинале. Читая в Михайловском в 1835 году романы Вальтера Скотта по-французски, он жалеет, что не захватил с собою английского издания.

Отправляясь в 1829 году в Арзрум, он берет с собой Шекспира на английском. М. В. Юзефович, познакомившийся с ним здесь, рассказал, как в лагерной палатке Пушкин переводил ему некоторые сцены из Шекспира. «В чтении Пушкина английское произношение было до того уродливо, что я заподозрил его знание языка и решил подвергнуть его экспертизе». Приглашенный «эксперт», Захар Чернышев, спросил поэта со смехом: «Ты скажи прежде, на каком языке читаешь?» Расхохотался в свою очередь и Пушкин, объяснив, что он выучился по-английски самоучкой, а потому читает английскую грамоту, как латинскую<sup>31</sup>. Но дело в том, что Чернышев нашел перевод его совершенно правильным и понимание языка безукоризненным<sup>32</sup>.

Это утверждение повторяется теперь почти везде в виде постоянного противоположения: «До 1828 года самостоятельно по-английски читать не мог», а после этого года «свободно читает по-английски»<sup>33</sup>. В эту формулу необходимо внести оговорку: свободно Пушкин не читал по-английски и после 1828 года. В этом убеждает внимательное сличение его переводов с оригиналами, и это единственное средство выяснить, насколько Пушкин овладел английским языком.

Надо помнить, что переводчику в те времена предоставлялось гораздо больше свободы, чем теперь. Жуковский, например, очень точно следовал взглядам на этот вопрос любимого им в начале литературной деятельности французского поэта Флориана: «Переводчик, сохраняя мысль автора, может ослабить некоторые его выражения, иное смягчить, отбрасывая могущие встречаться в оригинале черты худого вкуса, заботиться вообще преимущественно о плавности и чистоте языка»<sup>34</sup>. Таким образом, из двух принципов перевода — точности и литературности — Флориан и за ним Жуковский явно приносили первый в жертву второму.

Так же смотрел на дело и Н. Полевой: «Не должно думать, чтобы верность состояла в рабской копировке... Надобно понять дух и свойство обоих языков»; надо заменять иностранные обороты равносильными своими, «не привязываться к мелочам»; «работайте начисто, переводя страницу, а не каждую строчку, и ваш перевод будет хорош, хотя педант назовет его неверным»<sup>35</sup>. Таким образом, с точки зрения Полевого и, вероятно, большинства его современников, переводы Жуковского прекрасны, а перевод Вронченко «Гамлета» педантичен. На этой точке зрения немного позже стоял и Белинский, который возражал против принципов Вронченко, Сатина и Кроненберга,

ставивших себе задачей переводить Шекспира по возможности слово в слово. Белинский говорил, что «надобно выразить дух Шекспира, не заботясь о частностях»<sup>36</sup>. Он оправдывал даже изменение текста, если оно было необходимо, чтобы уяснить смысл публике: «К переводчикам Шекспира не мешает быть и посписходительнее, благо переводят»<sup>37</sup>.

Взгляды Пушкина на задачи и права переводчика, конечно, были гораздо ближе к Жуковскому и Белинскому, чем к сторонникам противоположного взгляда. Он называет Жуковского «гением перевода»<sup>38</sup>; «переводный слог его останется всегда образцовым»<sup>39</sup>. Буквальный, точный перевод в поэзии Пушкин отвергал совершенно: «Подстрочный перевод никогда не может быть верен. Каждый язык имеет свои обороты, свои условные риторические фигуры, свои усвоенные выражения, которые не могут быть переведены на другой язык соответствующими словами». Мысль, что «переводчик должен стараться передавать дух, а не букву», он называет «мнением, утвержденным веками и принятым всеми» (в черновике было еще прибавлено, потом зачеркнуто: «мысль, конечно, справедливая»)<sup>40</sup>. Даже тогда, когда Пушкин называет свой перевод буквальным (*mot à mot*)<sup>41</sup> — как, например, посвящение «Чайльд-Гарольда»: То *Janthe*<sup>42</sup>, — это перевод, по нашим современным понятиям, довольно свободный.

Переводные произведения Пушкина (по крайней мере, с английского) можно разбить на две группы — прозаическую и стихотворную. Первая группа есть, по-видимому, предварительная стадия, на которой сам переводчик имел задачей точно уяснить заинтересовавшее его стихотворение. Это — сравнительно точный, черновой, исключительно для себя, прозаический перевод, без забот о стиле. Отмечу, кстати, что именно так Вяземский в 1819 году задумывает перевести Байрона с хорошо знакомого ему языка: «с французского несколько строф, разумеется, сперва прозою»<sup>43</sup>. Некоторые переводы Пушкина на этой первой стадии и останавливались, другие подвергались процессу постепенной вторичной, но всё еще прозаической обработки. И, наконец, третья стадия — процесс стихотворной обработки, часто состоявшей в целом ряде одна другую сменявших редакций. При этой стихотворной обработке оригинальный текст подвергался особенно большим изменениям.

Пушкин легко отступал от подлинника, почти всегда сокращая, сжимая, в более редких случаях распространяя его, нередко он изме-

нял фактическую сторону, менял имена, сроки, мотивы поступков и т. д. и чаще всего заменял один образ другим, иногда изменяя при этом самую мысль подлинника. В ряде случаев оригинал служил ему лишь толчком для развития собственного творчества. Стихотворение «Я здесь, Инезилья», кроме этих трех слов, заимствует из Барри Корнуола только выражение «что ж медлишь?». Гимн председателя пира и песнь Мэри, да, пожалуй, и весь «Пир во время чумы», можно бы назвать, пользуясь музыкальной терминологией, вариациями на тему Вильсона.

Свои заимствования у иностранных поэтов Пушкин обычно обозначал словами «из такого-то поэта» или короче, более общими словами — «с такого-то языка»<sup>44</sup> или же «подражание тому-то». Эти названия <пере>дают лишь приблизительное отличие. «Подражание» не бывает переводом, но обозначение «из» может предполагать очень широкие рамки: и действительный, близкий перевод, как, например, «К пенатам» Саути; и переложение, сокращенный пересказ, как «Родриг» из того же поэта; и, наконец, то, что заслуживало бы названия подражания или вариаций. Словом *перевод* Пушкин свои стихотворные переложения почти никогда не называет<sup>45</sup>. Конечно, он высоко ценил значение труда переводчиков, если и называл их шутя «подставными лошадьми просвещения», но в нём самом творческое начало говорило так сильно, что ему было тесно в предписанных рамках перевода.

Таким образом, рассматривая переводы, переделки, переложения Пушкина из иностранных поэтов, надо прежде всего различать переводы прозаические от стихотворных, потому что это определяет степень близости к оригиналу: первые для нашей цели гораздо важнее вторых. Кроме того, надо иметь в виду характер переводимого отрывка: описание, повествование, лирика имеют свои специфические особенности и различную степень трудности для переводчика. В-третьих, важно знать, был ли у Пушкина в каждом отдельном случае какой-нибудь перевод, пользовался ли он оригиналом или переводом или тем и другим вместе, и, наконец, надо помнить о дате перевода, чтобы уяснить себе, шел Пушкин вперед в своем знании английского языка или нет.

Необходимо особо оговорить одно обстоятельство, имеющее принципиальное методическое значение. Я уже сказал выше, что Пушкин очень часто заменял образ переводимого поэта другим,



своим, и это относится не только к поэтическим переводам, отделанным до конца и опубликованным самим поэтом, но и к прозаическим, домашним, которые он называл дословными. При оценке этих переводов надо быть очень осторожным и не поддаваться искушению признать за неправильный перевод, за ошибку то, что на самом деле было (или могло быть) изменением образа.

Вот пример: в отрывке из “*Marcian Colonna*” Барри Корнуола (английский текст и перевод Пушкина приведены ниже, на стр. 34–35) «великолепная краса покрывает широкое седое чело» океана; в оригинале *broad green forehead*, т. е. ‘зеленое чело’. Н. В. Яковлев считает это ошибкой Пушкина, смешением слов *green* ‘зеленый’ и *gray* ‘седой’. Возможно, что это так, но более вероятно, что здесь изменение образа, и, имея в виду, что речь идет о бурном, пенящемся океане, изменение решительно к лучшему; этот эпитет бурного моря — *седое* — не раз встречается у Пушкина и был ему привычен<sup>46</sup>.

В стихотворном переводе, сочиненном самим автором достойным печати, надо быть сугубо осторожным. В «Анджело» фраза Пушкина «грудь кормилицы ребенок уж кусал» соответствует у Шекспира <фразе> “*the baby beats the nurse*” — ‘ребенок бьет няньку’. Здесь опять не исключена возможность смешения глаголов *beat* ‘бить’ с *bite* ‘кусать’, но вероятнее изменение образа при совершенно точной передаче смысла шекспировского выражения, тем более что еще в 1825 году Пушкин употребил это выражение в письме к Рылееву, не соглашаясь с его строгим отзывом о Жуковском: «зачем кусать нам грудь кормилицы нашей?».

И таких отступлений, которые при известной формальной строгости можно объяснить ошибкой, у Пушкина наберется немало, но лучше погрешить в другую сторону, чем поступить, как в свое время академик Корш<sup>47</sup>, который из написания *dunche* вместо *donque* в итальянской цитате сделал вывод, что «Пушкин понимал по-итальянски настолько, насколько может способный и сообразительный человек понимать язык, схожий с другими двумя ему известными языками», т. е., говоря попросту, что он итальянского языка не знал.

Кстати, об английской орфографии поэта надо сказать, что она у него довольно причудлива как до, так и после 1828 года: *cavetous* вместо *covetous*, *Edimboorg* вместо *Edinburgh*, имя Шекспира он писал иногда *Shakspeare* и *Schekspear*, вплоть до самых невероятных *nigth* вместо *night* и т. п. Некоторая часть этих ошибок, конечно, — простые

описки, которых очень много и в его французских, и в русских рукописях. Но всё же несомненно, что с английской орфографией Пушкин не совладал, из чего нелепо было бы делать вывод, что он не знал английского языка; капризная трудность и архаичность английского правописания всем известны.

Еще несколько слов о книжных пособиях, которыми располагал Пушкин при чтении английских книг. В его библиотеке была грамматика Поллока на французском языке, изданная Плюшаром в Петербурге в 1817 году, лишь кое-где разрезанная, и три словаря. <Два из них — это> произносительный словарь Уокера 1831 года и изданный в том же году англо-французский словарь *Salmon-Boyer*. Обе книги не разрезаны; таким образом, нам особенно важен третий из словарей: *Nouveau dictionnaire de poche français-anglais et anglais-français par Th. Nugent et J. Ouseau*, 21-me édition, 1828.

Англо-французская часть — небольшая карманная переплетенная, сравнительно мало потрепанная книжка в 286 страниц <формата> *in 16°*, в 3 столбца мелкого шрифта, приблизительно на 40 тысяч слов; в сжатой форме дается самое существенное, обыкновенно указываются один-два французских эквивалента и кое-где некоторые идиомы. Книжка была недостаточна для чтения не только Шекспира, но и современных поэтов, как мне придется дальше отмечать. Но и в нее Пушкин заглядывал, кажется, немного лениво; только этим и объясняются некоторые ошибки в переводах. Но что он пользовался именно этим словарем, несомненно: выписываемые им значения почти всегда соответствуют первому из указанных в словаре значений; несколько раз удалось заметить, что слово, которого в словаре нет, остается непереуведенным или неверно переведенным (см. ниже о слове *welter*). На пользование Пушкина англо-русскими словарями, которых в то время было уже несколько, нет никаких указаний.

Начну с прозаических переводов. Вот отрывок из поэмы Барри Корнуола «*Marcian Colonna*» (III, 7)<sup>48</sup> <— см. стр. 34–35>.

Перед нами, очевидно, первоначальный набросок, не получивший дальнейшей обработки; видна попытка держаться текста возможно ближе, без соображений о художественном стиле. Работа носит характер спешности — например, ряд слов остался без перевода, хотя в словаре *Nugent* эти слова есть.

Наибольшие затруднения вызвали стихи 5, 13 и 23.

O thou, vast Ocean! Ever sounding sea!  
 Thou symbol of a drear immensity!  
 Thou thing that windest round the solid world  
 Like a huge animal, which, downward hurl'd  
 From the black clouds, lies weltering and alone, 5  
 Lashing and writhing till its strength be gone,  
 Thy voice is like the thunder and thy sleep  
 Is as a giant's slumber, loud and deep.  
 Thou speakest in the East and in the West  
 At once, and on thy heavily laden breast 10  
 Fleets come and go, and shapes that have no life  
 Or motion, yet are moved and met in strife.  
 The earth hath nought of this: no chance nor change  
 Ruffles its surface, and no spirits dare  
 Give answer to the tempest-waken air; 15  
 But o'er its wastes the weakly tenants range  
 At will, and wound its bosom as they go:  
 Ever the same, it hath no ebb, no flow;  
 But in their stated rounds the seasons come,  
 And pass like visions to their viewless home, 20  
 And come again, and vanish: the young Spring  
 Looks ever bright with leaves and blossoming;  
 And Winter always winds his sullen horn,  
 When the wild Autumn with a look forlorn  
 Dies in his stormy manhood; and the skies 25  
 Weep and flowers sicken when the Summer flies.  
 Thou only, terrible Ocean, hast a power,  
 A will, a voice, and in thy wrathful hour,  
 When thou dost lift thine anger to the clouds,  
 A fearful and magnificent beauty shrouds 30  
 Thy broad green forehead.

Welter (строка 5) значит 'барахтаться, качаться на волнах', но никак не 'граничить'. Ясно, как произошла ошибка: этого слова в словаре Nugent нет, взгляд Пушкина упал на соседнее слово to welt — <фр.> border, т. е. 'обшивать каймой, бордюром, вытянуть вдоль, окружить' (ср. в английском border 'граница', to border 'граничить'). Пушкин понял его как 'граничить'.

O toi vaste océan, toujours  
 Символ ужасной беспредельности  
 Ты вещь бродящая около твердой земли  
 Подобно великому (сильному) зверю, который вниз  
 брошенный с черных тучь лежит гранича и один  
 бьясь и клубясь, пока сила его пройдет  
 Голос твой подобен грому  
 Сон ему великану тяжел и глубок.  
 Ты вдруг говоришь на востоке и на западе  
 И на твоей тяжело нагруженной груди  
 Приходят и уходят и образы без жизни,  
 И движения, но двигнутые и борющиеся.  
 Земля ничего не имеет моря — ни accident — ни перемены  
 Не изменяют (волнуют—ruffles) ее поверхности, духи ее не смеют дать  
 Ответ бурно проснувшемуся воздуху —  
 но по ее пространству слабые властители распоряжаются  
 по воле и ранят грудь ее как идут  
 Всегда одна, она не имеет ни прилива, ни отлива,  
 Но в их положенный круг времена приходят  
 и возвращаются, как виденья, к своим незримым жилищам  
 и вновь приходят и исчезают. Молодая весна  
 всегда блестит листьями и цветом,  
 и всегда зима winds свое печальное дело,  
 когда дикая осень с видом потерянным  
 умирает в своей бурной зрелости — и небо  
 Плачет, и вянут цветы, когда бежит лето.  
 Ты один, ужасный Океан — имеешь власть,  
 волю и глас, и твой wrathful час  
 Когда ты свой гнев lift к облакам  
 ужасная и великолепная краса покрывает  
 Твое широкое седое чело.

В 8-й строке сон океана сравнивается с дремотой великана, шумной и глубокой. Конечно, loud <'громкий, шумный'> не может значить 'тяжелый'; по-видимому, здесь действовала неправильная звуковая<sup>49</sup> ассоциация с французским lourd.

Стих 13 остался совсем не понят. Надо: «на земле нет ничего подобного» (тому, что творится на океане). Вместо этого в переводе: «земля